
Не Марсель это шумный, не праздный Версаль,
а всего лишь Торжок или Клин,
но на женские плечи накинута шаль,
и нельзя обойтись без мужчин.
Искушённой стрелой своей сам купидон
метит в сердце при свете луны,
безобидно играет себе патефон
до войны. До войны.

О любви, о великой любви говорил
свет небес, упоительный свет,
потому что ни времени больше, ни сил
на жестокость и ненависть нет.
Разозлится кукушка в двенадцать ноль-ноль
и прогонит вечерние сны,
и останется боль, и нужна эта боль
для войны. Для войны.

Я не вправе судить, но имел же Версаль
благородный и титул, и чин,
только третьего рейха железо и сталь
всё же гнул в одиночку мой Клин.
Он за чёрный возьмётся, за каторжный труд,
он с боями пройдёт полстраны,
чтобы люди и боги могли отдохнуть
от войны. От войны.

В мире тихо, и в доме открыто окно,
будут звёзды гореть в полумгле,
от которых, должно быть, расстройство одно
и несчастья одни на земле.
И в полёте стрела, и разит купидон
ею сердце при свете луны,
и не может не грустно играть патефон
до войны. До войны.

Ни толмачом судьбы своей, ни гидом
в краю золотокудрых виноделов
ни патриархом быть, ни Еврипидом
на переломе жизни не хотелось,
не норовил я думать о фигурах
на чёрно-белом поле, о Балканах,
о превосходном качестве велюра,
неотразимых свойствах ятагана.

О сокровенных мыслях гугенотов,
гастрономии их небезыскусной,
нет, не рискнул я думать отчего-то
на языке на ломаном, на русском,
зато открыл вот выводок утиный
свою большую, помнится мне, тайну,
с укором ветви гнулись у осины
да набирали плотников по найму.

Да из любви к ходульным пересудам
дворовый пёс, не пёс, а забулдыга,
прельстившись, видно, ролью лизоблюда,
всё утро бегал радостно и прыгал,
на облаках отнюдь не бутафорских
катилось солнце в космос Птолемеев;
направо — парк, скорее всего, Приморский,
вода сугубо нельская — левее.

Не выбрось жизнь мою на свалку,
сундук мой кованный не трогай,
вместивший зимнюю рыбалку,
шлейф дыма — дыма! — а не смога,
оставь мне сонную галеру
у тихой пристани безлюдной,
богиню с комплексами, Геру,
нестрашно если и нетрудно.

Я Рим и римлян не обидел,
пером скрипел, предпочитая
остановиться на Колхиде
за чашкой утреннего чая,
на соляных, на медных копиях
причерноморского бассейна...
Что делать, годы нас торопят:
до Нила, право же, до Рейна.

Коня нельзя — оставь хоть дышло,
оглоблю хоть, шлею и розгу.
Стихи невидимо, неслышно
за рифму держатся, за воздух,
ещё им автор не придумал
в порыве крайней неприязни
судьбы, достойной Аввакума,
кончины горестной и казни.

День закончился кровью — всё шире и шире
география бунтов, всё больше весёлой
разухабистой публики в душном трактире,
в кабаке, по соседству с лицеем и школой,
упомянутый день, увлекаясь помалу,
надоумил и нас афишировать вести,
нехорошие вести, плохие, пожалуй, —
от восточных границ до столичных предместий.

День закончился тем, что приехала труппа
с ненавистным Иудею Искарриотом,
дабы пульс у больного ещё раз прощупать,
увезти из провинции доброе что-то,
но при этом ушёл вот из жизни свидетель,
партократ коронованный, некому даже
прослезиться, статью свою тиснуть в газете
без обидных обмолвок, без глупых натяжек.

А ведь утро сулило нам радость прихода
вдохновения, если не чувственной пытки
в переполненном транспорте возле Синода,
утро было не против почтовой открытки,
заказного письма, нужно думать, сюрприза,
потому-то и верим: во времени дело,
тут неважно — поёт ли, ликуя, Азиза
или пристав крадётся за пассией в белом.

Притомились мы — вот и читаем
Про таёжный реликтовый лес,
Про убийство, раскрытое в мае,
Юрисконсульта Ксении С.,
Про глухое село на Алтае
И вселенский разврат до небес.

Мы наткнёмся на корпус стрелковый,
На конвой из шести субмарин,
На покойного Витте с Гучковым,
Порт-Артур их и даже Харбин,
Мы к войне с целым миром готовы,
Потому что у нас он — один.

Мы и вправду должны, как известно,
Умереть у подножья холма,
Нас окликнет не вовремя Нестор,
Нас обступит к полуночи тьма,
Нам не выжить в сражении честном,
А на подлость не хватит ума.

Бегать в лес за версту, потому что не трутень,
с придорожной ли насыпи прыгать, с обрыва,
на трамплине резину тянуть, на батуте,
отвоёвывать кубок в финальных заплывах,
комбинат всё обыгрывать наш мукомольный
за солидный трофей, за большое спасибо,
между делом любимой названивать в Смольный
лет за десять до путча, считай, до талибов;

при семи императорах жить, при курантах,
при таком изобилии, при совнархозах,
на стипендию жить с философией Канта,
до урочной зимы умереть, до мороза,
умереть от удушья, от сильного всплеска
упоительных мыслей и мыслей гнетущих,
на полотнах явиться, воскреснуть на фресках,
претендуя на небо, на райские кущи;

с непривычки расплёскивать полные вёдра,
дабы в зноем уже опалённой гречихе
к белым-белым тянуться коленям и бёдрам,
у Татьяны Дорониной жить, на Плющихе,
откликаться на голос певучий из кухни,
у окна горевать, распахнув его настежь,
если близится ночь, если веки припухли, —
разве это не лирика, разве не счастье?..

Мы скифы, конечно, конечно, сарматы,
как этнос, конечно, мы то и другое,
орлы из сословия хищных пернатых,
мучительно долго ходившие строем,
убойную силу стеснённого сердца
боится осмыслить кондовый рассудок,
нас трудно измерить в рентгенах и герцах,
задвинуть за шкаф или спрятать под спудом.

Гораздо удобней нас культовой фильмой
в четыре руки обувать и динамить,
мы — лохи, мы Ревель наш, Ревель и Вильно,
волтузить по-чёрному примемся сами,
все стены распишем эмульсией мутной,
запустим булыжником в купол собора,
дымит и дымит, невзирая на утро,
законопослушная с виду Аврора.

Плывут серебристые — тесно им в небе,
им рай на земле приготовили лужи,
за проповедь, нет, за хвалебный молебен
Владимир берётся, берётся и служит,
в саду так старательно, так грациозно
фланирует половозрелое чадо,
ни мусорных баков, ни кучи навозной,
цветёт рододендрон — чего ещё надо?

Эта звонница снится и снится
красоты не особенно броской,
снился редкого голоса птица,
поутру бороздившая космос,
снился старая эта шарманка,
эта музыка из ниоткуда,
пулемётчица в розовом, Анка,
упоение временем, удаль.

Та страна, та Высокая Порта,
снился улица та у разъезда,
Навратилова в джинсовых шортах,
не растрёпа, конечно, не бездарь,
снился, снился строптивая Дитрих
наравне с этой жизнью, по праву,
снился всё, что отныне роднит их,
снился Брюгге и снится Бреслау.

Век ушёл наш: ни боли, ни спеси,
век слинял, так сказать, восвояси,
можно тапой окно занавесить,
долго-долго по-чёрному квасить,
с кислым видом переться на кухню
за треской заливной, за миногой,
о рундук не споткнуться, не рухнуть, —
все мы, видишь ли, ходим под Богом.

Страны развитые, Цюрих,
Эдинбург их априори
лишь немногим обмишурить
удаётся, объегорить,
барахло спихнуть, верстак ли,
допотопную мортиру —
на действительность, Ираклий,
адекватно реагируй.

Поздно нам в миллионеры:
не умеем мы красиво
днём довольствоваться серым,
Лахтой будничной, заливом,
на ветру в чумных рейтузах
дефилировать, ботфортах,
якорь бросить в Сиракузах
кровь мешает нам, аорта.

Мы свидетели другого,
нужно думать, словоблудства,
где ходил в героях Овод
от Бобруйска до Иркутска,
где в груди кипела лава,
где уж точно без бутылки
не ложилась спать держава
знойных тружеников, пылких.

То гейзером, написанным сангиной
не хуже, чем паяц и арлекин,
то Сирией, пропахшей нафталином
под боком у гомеровских Афин,
то кайзером,
то кознями масонов,
чуть было не принудивших царя
за призраком идти, за гегемоном
извилистой дорогой октября,
то кронверком, то каменной оградой,
придвинутой к жилищу твоему,
жизнь явится, то горьким самосадам...
Я встречу жизнь, по-своему приму.

Все опыты, все виды рукоделья,
всю прорву и булавок, и крючков
засуну, если некуда, в портфель я,
всю с вызовом пролившуюся кровь,
всю изморозь,
всю суточную стужу,
лишь рухну я на жёсткую кровать,
под пологом суконным обнаружу,
всех плачущих отправлюсь утешать.

Во Львове,
в добротных, в ещё довоенных кварталах
совсем по-другому история воспринималась:
на площадь свернув, обойдя стороною вокзал,
внушительный выводок жёлтых трамваев бежал
за воздухом свежим жасминовым, за витамином;
тянуло нас к лакомству, к женщине в погребке винном —
её отрешённый, её целомудренный взгляд
таил в себе прелесть, а вовсе не горечь и яд.

От счастья шалея, от летнего утра, во Львове
на уровне крыш дефилировал тополь и кровель,
при этом в угрозы донельзя визгливой пыли
не очень-то верилось; в доме сверкали полы,
мастикой натёртые кем-то, ах, как интересно
шушукались лампа настольная, лампа и кресло,
портрет гимназиста, мундир вице-консула!..
Что ж,
насмотришься глупостей — мысленно

злиться начнёшь.